# Подпольное сборище

# Сергей Снегов

После вечернего развода, на втором месяце войны, меня отозвал в сторону Провоторов. Мы шли по зоне, стараясь, чтобы никто не подслушал разговора. В это время мы жили с Провоторовым в разных бараках.

— Нужна ваша помощь, Сережа, — сказал он. — У вас на работе комнатушка, где можно уединиться. Предоставьте ее на вечерок для важного совещания. Люди соберутся достойные.

Я ужаснулся.

— Подпольное собрание? Да вы в своем уме? Голову сорвут...

— Не узнают. Собрание созывает Николай Демьяныч, он не раз под носом у царских жандармов организовывал запре-щенные сборы. Вохру провести не труднее, чем жандармерию.

— Вохру провести легко. «Органы» не проведете. У них везде агентура.

— Среди нас доносчиков не найдется.

Я волновался. Меня била дрожь при мысли о подпольном сборище в моей потенциометрической. Я видел стукачей, притаившихся под окнами, у телеграфных столбов, в коридорах. Я слышал их змеиный шип, они клокотали радостной злобой, сверкали красными глазками. Моя голова уже пошатывалась на плечах.

Провоторов продолжал уговаривать:

— Надо, Сережа. Поймите, надо! Лагерь волнуется. Положение все более запутывается. Вот об этом мы и потолкуем.

— Но почему вы не толкуете поодиночке? — взмолился я. — То есть, не поодиночке, а парами. Собрались вдвоем, по-спорили, потом другие два, потом еще два... Вы же знаете — Кордубайло оговаривает все новых людей!

Провоторов сурово поглядел на меня.

— Кордубайло — это лотерея. Никто не предугадает заранее, на кого падет его выбор. Больше мужества, Сережа! Не ожидал, что вы так раскиснете.

В конце концов, я согласился предоставить комнату. Провоторов обещал предупредить меня за сутки, в какой вечер они соберутся. У него уже был план сбора, нечто вроде военной диспозиции. На клочке земли, приткнувшемся к отрогу Шмидтихи, располагались, кроме нашего опытного металлургического цеха, еще мастерские геологического управления, зернохранилище и остатки автобазы, переведенной недавно в другое место. Все эти учреждения часто посещались работ-никами строительных контор, горных предприятий и заводов. В назначенный день приглашенные люди достанут коман-дировки в нашу производственную зону и, закончив служебные дела, незаметно соединятся в моей комнатке.

На словах план выглядел великолепно. Но в нем имелся один изъян, я со страхом о нем подумывал. За три года моего пребывания на севере еще не было такого прекрасного лета, как в этот год. Солнце в полночь светило почти так же ярко, как и в полдень. Не заметить чужого человека, слоняющегося по зоне, мог разве что слепой, а у стрелков проверялось зрение, и очков они не носили.

— Все будет в порядке, — повторил Провоторов. — В крайнем случае, сами вы уйдете домой с ранним разводом. Ваше присутствие не обязательно.

В этот вечер я, вероятно, выглядел больным. Я сталкивался с людьми и столбами, а возвращаясь из кухни, вы плеснул полмиски супа. Я думал об этом непонятном собрании, недоумевал, зачем людям понадобилось рисковать новым сроком, если не жизнью. В своей сосредоточенности я вначале не заметил необыкновенного молчания, охватившего барак. Мои соседи ели тихо и торопливо, переговаривались шепотом, словно на похоронах. Потом я увидел, что с двух нар, недалеко от моих, содраны матрацы и подушки. На этих нарах проживали латыш Дацис, верзила и скандалист, наш химик, и ти-шайший старичок Успенский, механик-проектировщик.

Ко мне, ухмыляясь, подошел бородатый Колька Рокин, дневальный барака.

— Куда они подевались? — Я кивнул на голые нары. — Перевели в другую зону?

— Точно — в другую... В тюрьму. По личной просьбе Кордубайло. Хана теперь твоим приятелям!

Ни вспыльчивый Дацис, с ним я часто ссорился, ни учтивый Успенский не были мне приятелями. Тем более, я не мог признаться в дружбе с ними сейчас, когда их арестовали. Разозленный, я обругал Рокина. Он хохотал, глядя, как я взби-раюсь к себе на «второй этаж».

Я лежал, уткнув глаза в потолок, и размышлял все о том же. Я понимал, что на тайном собрании не будут обсуждать план восстания против советской власти. Легче от этого мне не было. Всякое собрание, не созванное начальством, счита-лось антисоветским. Первого мая тридцать седьмого года заключенные в Бутырках запели «Интернационал». Одна камера за другой, этаж за этажом, корпус за корпусом подхватывали грозный гимн. Сотни людей, выстроившись у нар, изливали в пении душу. А начальник тюрьмы, знаменитый Попов с полуметровыми усами, метался по коридорам и вопил: «Пре-кратить контрреволюционную демонстрацию! В карцер засажу!» И стрелки на вышках, охранники у дверей корпусов щелкали затворами винтовок, грозя тем, кто осмелился в революционной стране славить международный революционный праздник. В моей голове этот случай не укладывался. Как я ни ворочал его, он не лез. Пусть бы под арестом сидели и вправду враги советской власти — надо было лишь радоваться, что они, наконец, разоружаются перед ней! Если бы в цар-ской тюрьме в день тезоименитства императора революционеры запели хором «Боже, царя храни!» — их, наверное, радо-стно бы хлопали по плечам тюремные надзиратели — так требовала полити ческая логика. Но моя эпоха не признавала логики. Вернее, она не признавала той, которую я понимал. Эпоха строилась по законам своей особой, непостижимой для меня логики. Мне иногда казалось, что все окружающее напоминает производственное собрание обитателей сумасшедше-го дома — вопли, фанатическая страстность действий, никто никому не верит, а в целом — со рвением рубят сук, на кото-ром сидят. От людей, объявляющих контрреволюцией пение революционного гимна, всего можно ожидать — такого же нелепого, разумеется.

Еще я думал о Кордубайло. Я знал этого страшного человека. Год назад меня познакомил с ним мой друг Тимофей Кольцов. Тимоха привел Кордубайло в наш барак — чтобы объяснить, как обращаться с пирометрами. Кордубайло сидел на моей верхней наре, я угощал его чаем. Это был широкоплечий человечище с путаной речью и багровым лицом, на ко-тором посверкивали хитрые, недобрые глазки. Он работал на ремонтно-механическом заводе, и, слушая его, я удивлялся, как такому пройдохе достался диплом инженера. Кордубайло не понимал вещей, в которых разобрался бы восьмикласс-ник, а на выписанные мною формулы глядел, как баран на новые ворота. Я посочувствовал ему. На механическом заводе получили массу приборов — гальванометры с термопарами, оптические и радиационные пирометры, потенциометры. Кор-дубайло должен был смонтировать, пустить в ход и поддерживать в рабочем состоянии все эти тонкие механизмы. С та-ким же успехом он мог бы докладывать на собрании Академии наук о последних открытиях в астрофизике. После нашей беседы он долго жал мне руку и, мешая украинские слова с русскими, заверял, что теперь ему с приборами ясно, как на ладони. Ладонь у него была шершава и груба, как колода, тупая и хитрая ладонь — наподобие его лица!

И этот человек спустя две недели после начала войны объявил себя организатором повстанческой группы, готовившей свержение советской власти и переход на сторону немцев. Никакой повстанческой группы, разумеется, не было и в поми-не. Ее вообразили себе работники «органов», которым всюду мерещились заговоры. Вероятно, на них нажимало и началь-ство из Москвы, грозно допрашивавшее, как обезвреживаются антисоветские силы. По количеству раскрытых подполь-ных организаций судили о качестве работы следователей — те лезли из кожи вон, раздувая в слона каждую муху, приду-мывая эту муху, чтобы потом раздуть, если она сама не попадалась. Кордубайло для них стал золотым кладом. Возможно, он и раньше трудился в должности стукача. С началом фашистского наступления он стал поговаривать, что хватит сидеть сложа руки, и многозначительно намекал, что кое-что делается, а еще больше предстоит сделать. Потом его арестовали, и он засел в камере за доносы. Он писал на всех, кого мог припомнить: на друзей и тех, которых знал лишь по фамилиям, на мужчин и женщин, на юношей и стариков. Писания его были до ужаса однообразны — встретил, поговорил, завербовал в повстанческую организацию. На очных ставках Кордубайло, прихлебывая чай и закусывая печеньем, снисходительно го-ворил потрясенным «членам» своей мифической организации: «Ладно, туточки як на духу... Памьятаешь, мы с тобой коло кина зустринулись, ну, еще там в дверях толкались, а комендант за шиворот спиймав? И насчет советской власти балака-ли, чтоб ее до ногтя... Признавайся, друже, наше дело табак, одно залышилось — покаяться!» Он не мог не знать, что ему — организатору — суждена первая пуля. Думаю, он не верил куцым своим умишком в пулю. Его убеждали, что честное при-знание и полное изъятие затаившихся врагов народа обеспечит ему благодарность — он с охотой признавался во всем, что подсказывали, с увлечением оговаривал всех, кто взбредет на ум. А когда его вели на расстрел, он вырывался и с рыдани-ем вопил на всю тюрьму: «Братцы, меня обманули! Меня обманули, братцы!» Никто не вспоминал его добрым словом. Далеко не всякая собака заслуживает такой собачьей смерти, какую заслужил он.

В тот вечер, когда мы беседовали с Провоторовым, Кордубайло был на вершине своей доносительской деятельности. Число арестованных приближалось к полусотне. Каждый день кто-нибудь пропадал из бараков. Тимофей и я со страхом ожидали, что он припомнит и нас. Во всяком случае, я провел с ним больше времени, чем многие из тех, кого он подвел под новый срок, этого было достаточно для доноса. А Тимофей встречался с ним чуть ли не каждый день в течение целого месяца. Но Кордубайло до нас не добрался — и в его цепкой памяти имелись провалы. В те дни мы этого, конечно, знать не могли.

Мои унылые размышления прервал Рокин. Он потянул меня за руку.

— Сработаем партию в шахматы, Серега.

Я слез. Рокин был человек занятный. Профессиональный — с детства — вор, он тянулся к интеллигентам, почитывал книжки. В шахматы он великолепно играл быстрые партии, но уставал, если противник раздумывал. Находчивость, стре-мительная реакция на окружающее — профессиональные свойства хорошего вора, Рокин щедро был ими наделен.

Мне достались черные — верная примета проигрыша, с Рокиным я не всегда справлялся, играя и белыми. Энергично галопируя конем, Рокин сказал, слегка посмеиваясь:

— Испугался все-таки, что Дациса с Успенским прибрали? Трусы вы, пятьдесят восьмые...

— Будешь трусом, — мрачно отозвался я. — Вашего брата берут за дело, а нас? На ровном месте спотыкаемся!

— Надо, надо вам бояться. Сейчас плохо, а скоро хуже будет.

Я посмотрел на него, недоумевая. Он понизил голос. Он любил делиться со мной «парашами».

— Чего шары выкатил? Военнообязанных вохровцев на днях отправляют на фронт — слыхал? Остаются вольнонаемные — папаши... Что будет!

— Какая разница — вольнонаемные или военнообязанные?

— Тебе — никакой. На вас прикрикнешь, вы — руки по швам, слушаюсь! А нам — разница. О себе не скажу, а ребята най-дутся, которым воля дороже лагеря. Батальон старичков таким не помеха — разнесут в клочья!

Он засмеялся, радуясь, что напугал меня.

— Тогда, точно, затрясетесь! Ребята пойдут гужеваться от пуза, а кому не понравится — нож в брюхо! Ни работы, ни комендантов... Анархия — мать порядка! Склады — вразнос, вино — на стол! А потом — кто куда! Воля — она широкая, на все стороны.

Я попытался спорить:

— С материка пришлют войска, прилетят самолеты...

Он пренебрежительно махнул рукой.

— Самолеты!.. Все максимки с вышек поснимали на фронт. Немец топает на Москву! Крепкая, крепкая была держава — от одного хорошего удара поползла по швам, как вшивая телогрейка...

Он снова взглянул на меня и забеспокоился, что наговорил лишку. «Органы» еще были всесильны в Норильске.

— Мне безразлично. А у ребят волчья думка, понял? Ваш брат все заявления, чтобы на фронт, а эти приглядываются, куда ветерок. Ожидают своего времени, понял?

Я понимал одно — в час, когда в лагере начнут «гужеваться от пуза», в стороне Николай не останется. А и захотел бы, друзья не дадут. Настроение мое вконец испортилось. Я продувал партию за партией. Рокин наслаждался своими выиг-рышами и моим смятением. В эту ночь я почти не спал. Во сне одолевали кошмары, в бодрствовании — мысли хуже любо-го кошмара.

На третий день Провоторов пришел ко мне в барак и, вызвав наружу, сказал:

— Завтра, будьте готовы, Сережа.

Я с утра глядел в небо. Я подбегал к окну, выходил во двор. Я искал хотя бы следа тучки. Небо было пустынно и пла-менно. Солнце неторопливо обходило горизонт. Тени удлинялись, но свету не становилось меньше. Нельзя было выбрать худшего времени для запрещенного сборища, чем этот сияющий тихий вечер.

Перед вечерним разводом я пошел в тундру. Я выбрался на бережок безымянного ручья, присел в кустах тальника. Меня со всех сторон охватило томное бабье лето, последнее тепло года. Солнце нежной рукой скользнуло по лицу, ручей усыпляюще бормотал, тальник шумел и качался. А в стороне две знакомые березки протягивали кривые лапы и тоже ка-чались — несильный ветер сбежал с Шмидтихи, и все в леске ожило и заговорило. Мне показалось, что березки хотят под-бежать ко мне и негодуют, что не могут выдрать ног из почвы. Я обнял, сколько мог захватить руками, нагретую за день землю, прижался к ней грудью и лицом — она была ласкова и податлива. Мне стало спокойно и легко, как и всегда бывало, когда удавалось посидеть наедине с землей и небом. Потом я услышал зов Тимофея:

— Серега! Ты где тут? Тебя ищут, Серега!

Я в ужасе кинулся к цеху. Тимофей стоял около уборной, застегивая брюки.

— Кто ищет меня, Тимоха?

Он смотрел на меня с удивлением.

— Как, кто? Я и стрелочек — пора домой!

Я понял, что конспиратор из меня, как из хворостины оглобля.

— Я не пойду, Тимоха. Передай стрелочку, что остаюсь до ночи. Срочное дело.

Он кивнул.

— Стихи писать? Когда-нибудь тебя за эти рифмы!.. Ладно, объясню, что дежуришь на экспериментальной печи.

Я подождал, пока бригада наша не выстроилась около склада и не зашагала к дороге, потом прошел к себе. В комнате сидело трое мужчин. Они встали при моем появлении. Я растерянно смотрел на них.

— Нам нужен Провоторов, — сказал один.

— Понимаю, — ответил я и снова ощутил, что говорю глупости, совсем не так надо отвечать. — Провоторов скоро при-дет, подождите.

Они снова уселись, а я захлопотал у потенциометра. Эти незнакомые люди меня не занимали. Я хотел увидеть Николая Демьяныча, о котором упоминал Провоторов. Я слышал об этом человеке. Фамилия его начиналась на Ч — не то Чагец, не то Чаговец, а, может, и вовсе Чугуев, сейчас уже не помню. Мне не раз его описывали — низенький, немолодой, с усами, глаза пронзительные, как пики, неговорлив, нездоров — язва желудка. Я знал об этом Чаще, или Чаговце, или Чугуеве, что он вступил в партию еще до революции, работал в Донбассе и в Ростове и, как почти все старые большевики, свалился на нары в тюремную эпидемию конца тридцатых годов. Мне хотелось расспросить его, не знал ли он моего отца, участника Одесской большевистской организации, высланного перед революцией в Ростов и там осевшего. Я не понимаю, почему у меня возникло желание поговорить с ним об отце. Отец не поладил с матерью, мы жили врозь — с тринадцати лет я сменил его фамилию на фамилию отчима. И вообще, на воле меня мало трогало, как он и что с ним, родственные чувства не были во мне очень развиты. Зато в тюрьме я много размышлял о нем. Вероятно, это происходило потому, что я старался осмыс-лить закруживший меня водоворот событий, понять, кто мы и кто наши стражники и гонители, и как получилось, что нас, единых по взглядам, разделил непреоборимый ров. Отец, когда я видел его в последний раз, это было в двадцать пятом году, сказал мне: «Я таскался по царским тюрьмам и ссылкам для того, чтобы тебе, Сережа, были открыты широкие пути на все стороны, куда полюбится!» Все мои жизненные пути исчерпывались теперь узенькой тюремной стежечкой — я хо-тел разобраться, почему так получилось? Кто в этом виноват — он или я?

Пока я углублялся в невеселые мои мысли, комната наполнилась — двери неслышно отворялись, неслышно входили то один, то двое, кивком здоровались, в молчании присаживались на табуретки, становились у стены. Потом вошел Прово-торов с человеком в одежде не по сезону — бушлате и шапке, ватных брюках и сапогах. Вошедший не дотягивал головой и до плеча Провоторова. И он был с усами на землистом лице, типичном лице язвенника. Я понял, что это и есть Чагец или Чугуев. Чагец окинул меня быстрым взглядом и отвернулся. Очевидно, ему говорили обо мне.

— Можете быть свободны, Сережа, — сказал Провоторов. — Погуляйте на солнышке.

Я умоляюще поглядел на него. Чагец снова повернулся ко мне. У него были стремительные глаза, он ударял ими, как пулей. Они вспыхнули на меня, я чуть не отшатнулся. Чагец сказал Провоторову:

— Пусть остается. Охрана поставлена?

— Как намечено, — ответил Провоторов.

Чагец уселся на табурете.

— Товарищи, времени в обрез. Дискуссий не разводить. Давай ты! — он ткнул пальцем в Провоторова. Я заметил, что Чагец избегает называть собравшихся по фамилиям.

Провоторов говорил минут десять — чеканными фразами, почти формулами. Он начал с дела Кордубайло. Болваны из «органов» опять ищут врагов не там, где враги таятся. Они состряпали очередную липу, чтобы показать усердие перед верховным начальством. Реальной обстановки они не знают, хотя всюду насажали сексотов. А реальная обстановка гроз-на. Лагерь лишь с поверхности спокоен, внутри он кипит. Охрана, кто помоложе, уходит на фронт, оружие вывозится туда же, в казармах — одни винтовки. Бандиты готовят восстание, оно разразится, когда закроется навигация. Активных зачин-щиков сотни три-четыре, но к ним присоединится шпана, кое-кто из бытовиков. Пятьсот пожилых стрелков, несущих ны-не охрану лагеря и заводов, будут перерезаны в одну ночь. «Органы» ожидает та же участь. Предупреждать их об этом бесполезно, они опасаются лишь нас. От нашего поведения зависит многое, нас немало, хоть мы и не так организованы, как блатные.

— Ты! — Чагец ткнул пальцем в одного из присутствующих.

Тот прокашлялся и заговорил:

— Начнется восстание, надо поддержать вохру. Не допустить, чтобы власть захватили блатные. Подумайте, что про-изойдет! Остановится строительство, замрут заводы, опустеют шахты. Это будет злодейский удар в спину на шей отсту-пающей армии. Никель — это орудия, это танки, это снаряды. Он должен литься, наш никель, он не имеет права иссякать!

— Дай мне! — возбужденно потребовал еще один.

Он обрушился на первого. Кого поддерживать, какую вохру? Вохровцы начнут стрелять в нас, поднимись заваруха! Этот приказ — расправиться прежде всего с нами — им отдадут из комитета госбезопасности. Вот кого вы хотите поддер-живать — «органы»! Вы тревожитесь о людях, истребляющих честных сынов партии, пересажавших чуть ли не всю техни-ческую интеллигенцию, уничтоживших перед самой войной почти все военные кадры. Это они виноваты, что наши армии сражаются у Ленинграда, а не у Кенигсберга, отступают к Москве, а не рвутся к Берлину. Они кричат нам в лицо: «Фаши-сты!» — и каждым своим поступком облегчают победу фашизма! Я и рукой не шевельну, чтобы помешать одним бандитам разделаться с другими!

— Ты хочешь, чтобы остановились шахты и заводы, прекратилось строительство? — спросил третий.

— Нет! — закричал второй. — Не приписывайте мне диких мыслей. Я заводы буду отстаивать кулаком и ножом, зубами и ломом! Я не отдам их разгулу стихии. Вот мое предложение — с началом восстания занять все производственные объекты, выставить охрану из наших и продолжать работу, пока не прибудет помощь с материка.

— Помощь с материка? — переспросил первый. — Откуда взять эту помощь? Не из тех ли войск, которые теснят к Мо-скве? И как перебросить эту помощь сюда? На самолетах, прикрывающих сейчас небо Ленинграда?

— Все! — сказал Чагец. — Положение обрисовано, мнения высказаны. Разрешите мне.

Он встал и прислонился к стене, чтобы лучше видеть собравшихся. У меня билось сердце, шумело в ушах. Голова моя раскалывалась от дикого противоречия — втайне от советской власти шло подпольное собрание в защиту советской вла-сти!

Чагец заговорил в такой глубокой тишине, что было слышно, как поскрипывают табуретки под сидящими.

Провоторов сказал — от нашего поведения здвисит многое. Не многое — все! Нас двадцать тысяч, не меньше — двадцать тысяч партийцев, советских интеллигентов, инженеров, рабочих, военных, колхозников! И неверно, что мы хуже органи-зованы, чем блатные, абсолютно неверно! Их объединяют низменные инстинкты, нас сплачивает любовь к родине! У нас отобрали партийные билеты, но с нами осталась партийная совесть, ее не изъять при обыске и не выдрать пыткой на до-просе, она отдается только с жизнью! Да, нам кричат, что мы фашисты, пусть кричат, история нас рассудит. Пусть ведет тебя твоя совесть, а не протокол осудившего тебя общего собрания, совесть покрепче протокола. Молятся не тем святым, которые в святцах, а тем, которые в сердцах!

Он остановился, переведя дух. Тишина оставалась каменной. Чагец снова заговорил.

Нет, он не зовет спасать «органы». Сами по себе эти люди — нечистые карьеристы, жуки, лишенные чести. Но здесь, на нашем севере, они — единственная организованная сила, готовящая помощь армии, они ведут строительство, формируют новые батальоны и полки. О, я знаю, это очень непросто — помогать таким людям, к тому же с проклятием отвергающим твою помощь. Но мы не их выручаем — родину! Да, и мать бывает несправедлива, и мать иногда понапрасну обижает сво-их детей, но она — мать, всегда и всюду — мать! — и она попала в страшную беду, это наша общая, жестокая и пристрастная мать. Как же мы ее оставим в несчастье? Ее повалил на землю подлый враг, неужели же мы злорадно захохочем: «Так те-бе и надо, ты меня вчера посекла ремнем!» Неужели же мы в тысячу раз большей несправедливостью ответим на ее не-справедливость? Какой мерой подлости понадобится тогда измерить чудовищное наше поведение? Мне плевать, что ду-мают обо мне, я знаю, что сам о себе думаю, знаю, каков я — вот что важно! Нет, говорю вам, нет — ни на одну минуту не должны потухать наши печи, пусть льется рекой никель, без него не справятся наши военные заводы! И пусть ни один солдат не возвращается с фронта усмирять бандитов в тылу — это наш долг перед родиной. Ты! — Он указал на человека, кричавшего, что не пойдет защищать чекистов. — Ты командовал дивизией, я не верю, что ты не примешь командования над нами! Провоторов гнал белогвардейские полки, цвет русской аристократии — и я не поверю, что он отступит перед кучкой подонков, воров и убийц! Не нам надо их страшиться, а им — нас! Ибо мы — внутренняя сила, а они — пена, дерьмо, выплывшее на поверхность. И пусть они не надеются, что мы трусливо отойдем в сторону. А если и вправду поднимутся, Варфоломеевскую ночь им, Варфоломеевскую ночь!

Он не кричал, а говорил тихо и быстро, но каждое его страстное слово оглушало, как крик. Думаю, не я один сжимал похолодевшие руки, весь внутренне трепетал. А когда он закончил, второй поспешно сказал:

— Демьяныч!.. Начнутся волнения, пойду впереди, не сомневайся!

— Не об этом спор! — оборвал Чагец. — Остался ли ты коммунистом, потеряв свою красную книжку — вот о чем речь!

Тот опустил голову.

— Прости, неправ...

Чагец снял шапку. Он был наполовину лыс, наполовину сед. Он вытирал платком вспотевшую голову, а собрание по-тихоньку расходилось. Потом ушел и он с Провоторовым. Когда в комнате никого не осталось, я запоздало вспомнил, что хотел поговорить с ним. Я вышел во двор. Солнце катилось вдоль горизонта, красное сияние заливало горы и тундру. Я бродил в леске около цеха, садился и вскакивал. Я ворочал мысли, исполинские, как валуны.

Да, конечно, ответа на те вопросы, какие я хотел ему поставить, он не дал своей речью. Он не объяснил мне мира, сре-ди загадок которого я путался. Вряд ли и сам он понимал все его загадки. Но он знал, как держаться в этом страшном ми-ре, он не потух под бременем своих несчастий. Он был из тех, кто способен правильно действовать, даже если и не пони-мает всего до конца.

Я возвратился в лагерь заполночь. Все спали. Рокин сидел у стола и почитывал растрепанную книжицу. Он отсыпался днем, когда мы уходили на работу.

— Сработаем партийку, — предложил он.

Я согласился.

— Вечерком приходили за Находкиным, — сообщил он, расставляя шахматы. — Старается твой приятель Кордубайло.

Я промолчал.

— А днем два вагона с новобранцами ушли в Дудинку. Вчера еще три города сдали немцам. Скоро пойдет заваруха.

Я поднял голову.

— О какой заварухе ты говоришь?

— Ну, вот еще — о какой!.. Помнишь, недавно толковали...

Я с ожесточением напал на его короля ферзем.

— Это меня не беспокоит, — сказал я. — Твои ребята храбры, когда их двое с ножами против одного безоружного. Трусы из трусов. Дай им как следует по морде, мигом наделают в штаны.

Он поспешно увел короля.

— С ума сошел, Серега! Это ты собираешься давать по морде?

— Мы! — закричал я. — Мы! Нас двадцать тысяч, мы передушим вас, как котят! Мордой в навоз!

— Да замолчи ты! — говорил он, пугливо оглядываясь.

— Распсиховался, как жеребец на ярманке. Весь барак поднимешь.

Он схватил меня за руку и заставил сесть на скамью.

— Ну и ну! Как бы коменданты на крик не набежали!

Я стиснул зубы и сжал голову руками. Пешки и слоны прыгали перед глазами, как расшалившиеся зверьки. Я сделал наугад какой-то ход. Рокин перешел от защиты к нападению.

— И я так думаю — ничего не будет, — сказал он, подготавливая натиск на моего короля. — Поболтают и перестанут. Что до меня, то хочу на фронт. Сколько дней собираюсь накатать заявление! Народ сражается, а мы разве не люди? Тебе шах, Серега!

От шаха я увернулся, но натиска не отразил. Через несколько ходов я сдал партию. Рокин проговорил, собирая фигу-ры:

— О чем я хочу тебя попросить... Напиши заявление посолидней, а я перебелю. У меня статьи не такие уж тяжкие — во-ровство, драки... Людей не резал. Если таких на фронт не возьмут, так какого им еще хрена надо?

— Тащи бумагу, — сказал я.